ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Антуан
де Сент-Экзюпери

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ



Планета людей
Antuan de Sent Exupery

Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей»
I. ЛИНИЯ
II. ТОВАРИЩИ
  1
  2
III. САМОЛЕТ
IV. САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА
  1
  2
  3
  4
V. ОАЗИС
VI. В ПУСТЫНЕ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
VII. В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ
  1

2
3
4
5
6
7
VIII. ЛЮДИ
1
2
3
4

Антуан де Сент-Экзюпери
«Планета людей»

Анри Гийоме, товарищ мой,
тебе посвящаю эту книгу

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, — приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей…

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, — быть может, иные и отзовутся.

I. ЛИНИЯ

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза — Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане — они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, — и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать

с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, — так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову — и рассмеялся. Это было чудесно — Бюри смеялся не часто, этот

внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

— Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

— Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, — и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало — конец и самолету!» — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если

внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

— Конечно, это недурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но…

И еще медлительнее, с расстановкой:

— …но помните, под морем облаков — вечность…

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие — западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, — но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем

таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок, — случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой.

— Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

— Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

От него исходила уверенность, как от лампы — свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот ве-

чер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто:

— Неприятности у тебя будут — гроза, туман, снег, — без этого не обойтись. А ты рассуждай так: летали же другие, они через это прошли, значит, и я могу.

Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга — и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы.

Странный то был урок географии! Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадиксе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. «Берегись, отметь их на карте...» И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки. О жизни этой фермы. О ее хозяине. И о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на гор-

ном склоне, их окна светили издалека, словно звезды, — подобно смотрителям маяка эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем.

Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Мотриля, — кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. «Берегись этого ручья, он портит поле… Нанеси его тоже на карту». О да, я буду помнить про мотрильскую змейку! Она выглядела так безобидно, своим негромким журчаньем она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала вполглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня…

Готов я был и к встрече с драчливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того гляди, бросятся на меня. «Посмотришь — на лугу пусто, и вдруг — бац! — прямо под колеса кидаются все тридцать баранов…» И я изумленно улыбался столь коварной угрозе.

Так понемногу Испания на моей карте, под

лампой Гийоме, становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке, — пастушку, которой пренебрегают географы.

Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали.

Им не были внятны и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага…

А между тем эти сигналы, исполненные для

меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены напоказ все земные блага, — и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, на что мне искристый хрусталь — украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы, — рейсовый пилот, я уже вкусил от горького плода ночных полетов.

В три часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно, истово оделся.

Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них так же сжималось сердце! Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останав-

ливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе, трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов… Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром — и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, — тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Оспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем; и тогда он волен будет избрать любой путь — в обход, над морем, или на приступ, напрямик через Алькойский кряж, — он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке

людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дожди и снега и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте.

Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе (не было сказано и десятка слов) я узнал о гибели Лекривэна, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки.

Была такая же рань — три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора:

— Лекривэн не приземлился ночью в Касабланке.

— А? — отозвался инспектор.

Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе.

— А, что? Ему не удалось пройти? Повернул

назад?

Из глубины автобуса ответили только:

— Нет.

Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше и не будет сказано, что это «нет» — жестокий, окончательный приговор: Лекривэн не только не приземлился в Касабланке — он уже никогда и нигде не приземлится.

Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку, и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да... не очень-то мне везет для первого рейса...» — подумал я. И сказал инспектору:

— Погода как будто неважная?

Инспектор устало покосился на окно.

— Это еще ничего не значит, — проворчал он, помедлив.

Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества,

которыми угнетали нас «старики», но тут они опять пришли мне на память: «Если пилот не изучил всю трассу назубок да попадет в снежную бурю… одно могу сказать, жаль мне его, беднягу!..» Надо же им было поддержать свой авторитет, вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками.

И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было — шестьдесят? Восемьдесят? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся: в темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников… Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж?

Я прислушивался к разговорам вполголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы.

Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как де-

лают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе, ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то.

Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир: через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, — и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам.

Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные

водолазы, погружались мы в глубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь наудачу, самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, — но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, — и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс.

И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают: «0 часов 40 минут. Курс 230. На борту все благополучно».

Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина — уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками

действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из Небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями.

И все же с каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии, — и кажется, уже не будет возврата.

Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-о-Нуар — «котлу тьмы». С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, — словно на глазах воздвигали стену, — потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве.

Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными — черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная

луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны вставшего дыбом океана, — четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и, лишь когда Пот-о-Нуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться.

Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира: в ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нери с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем.

Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку. А меж тем луна уже заходила. Все трудней становилось производить измерения сноса — и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и

мы плыли между облаками и туманом, в тусклой мертвой пустоте.

Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем… Пеленг дать не можем…» — повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда.

И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нери наклонился ко мне, и я услышал — он поет! Конечно же это аэродром, конечно же маяк! Ведь больше здесь нечему светить — по ночам вся огромная Сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда, всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс…

А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию.

— Видим огонь, — передавал Нери аэродрому в Сиснеросе. — Трижды погасите и зажгите маяк.

Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно

следили, — неподкупная звезда.

И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок: уж теперь-то впереди настоящий маяк! Уж теперь-то это аэродром — и жизнь!.. И опять мы меняли звезду.

Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля, и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог…

Единственная планета… Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь, и вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано! Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие бистро на рассвете уже открыты… Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наив-

ной ладанки, четок: чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы — в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее.

Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светила.

Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот наконец этот дар небес у меня в руках.

К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за две ты-

сячи километров, когда мы плутали где-то над морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание: при вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба; нелегкая это была задача — остаться в живых, а тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились — напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие: здесь мы сами себе хозяева! Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны? Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что

предательство луны…

Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был — сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели…» Они — это означало: все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И, перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий.

Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сиснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду, мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И на беду, в лучшем случае нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что скорее всего мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора.

Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти: «Сиснерос

пробует определить, где мы. Сиснерос передает: предположительно двести шестнадцать...» Сиснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерос пробуждался, мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом — и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ: «Горючего осталось на час, продолжаем курс девяносто три».

Между тем один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса — Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога: радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот — наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности!

И вдруг издалека, за четыре тысячи километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета F ... ? (Сейчас я уже не помню номер.) — Да. — Тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа. У вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос».

Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но для того чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, встающая на горизонте, для летчика не декорация: она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает, они говорят на одном языке. А вот высится гора, до нее еще далеко, — чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь вслепую, и, уклонясь в сторону, с трудом исправляешь курс, и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна-единственная мина — игрушка подводных течений — отравляет все море.

Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой: с высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь.

Эти пальмы для него — как огромные ядовитые цветы.

И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков, — он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысяче примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную, погожую ночь. Поначалу казалось, самолет отдаляет человека от природы, — но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий — и, одинокий, он отстаивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами: с горами, морем и бурей.

II. ТОВАРИЩИ

1

Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка — Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами.

Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся навстречу меж двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз на-

чинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других.

И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен.

Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и опять стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина.

Назавтра он начал все сначала.

Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи.

В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела. Он справился и с этим и проложил путь другим. Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту и экипаж.

Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его. Но он возвращался — и снова отправлялся в путь.

Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор. И наступило молчание.

Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло десять минут — и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса, стали на тревожную вахту. Ибо если в обыденной жизни десять минут опоздания — пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто неведомое событие. Мало-

важное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен.

Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя — товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которым столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой — так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп.

Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет, — таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного.

Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым на посту, не перемолвиться словом. И

только случай порою то здесь, то там вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе, и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна и богата. Богата потаенными оазисами дружбы — они скрыты от глаз и до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют — молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат! А ждать — ждать мы привыкли…

Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур — не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь.

Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых

вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени.

Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь.

Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком.

Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.

Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого, — да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло

бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые испытания.

Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты — всесилен.

Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветила яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой.

Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается, — ночь в непокоренном районе Сахары.

Мы — три самолета компании «Аэропосталь» — застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель — у него заклинило рули; на выручку прилетел другой товарищ, Бурга, однако пустячная поломка и его приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться впотьмах, а ждать утра.

Годом раньше на этом же самом месте потер-

пели аварию наши товарищи Гурп и Эрабль — и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то у Бохадора стоит лагерем отряд в триста ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, — и эта ночь может стать для нас последней.

Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение.

Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасенье, или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили, пели.

Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов. Но за этим скудно освещенным столом горстка

людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается — все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря.

2

Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении.

Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано названия. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживается и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику: как равный становится он лицом к лицу с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности, приступает к работе во всеоружии своих сил и умения.

Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства! Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: «Будет буря». Ты видишь, что тебе предстоит, и

готовишься к встрече. Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую.

Зимой ты ушел в рейс через Анды — и исчез, пятьдесят часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. Пять дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать два самолета! Казалось, и сотне эскадрилий за сто лет не обшарить все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на семь тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради пяти франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже, — говорили они. — Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. «Сейчас зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда». А потом я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских

столпов Анд, и мне казалось — я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву.

А на седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул — всего лишь два слова:

— Гийоме жив!

И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через десять минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой двух механиков — Лефевра и Абри. А еще через сорок минут приземлился на дороге, шестым чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча, мы все плакали, мы душили тебя в объятиях — ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо! Вот тогда ты сказал — и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости:

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Позже ты нам рассказал, как все это случилось. Двое суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега, видимости не было никакой — и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе.

Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков — они кончались на высоте шести тысяч метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг шести с половиной тысяч — и взял курс на Аргентину.

Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает — и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, — и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает.

— Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему, — рассказывал ты. — Кажется, будто облака

неподвижны, но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними — нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах. А какие громоздились облака!..

— Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтоб меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с шести тысяч метров до трех с половиной.

Тут я увидел под собой черное плоское пространство, оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине и одна ее сторона — вулкан Маипу — поднимается на шесть тысяч девятьсот метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и, попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте тридцати метров, пока не кончилось горючее. Два часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел — и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся — опять сбило.

Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так двое суток.

А потом буря утихла, и я пошел. Я шел пять дней и четыре ночи.

Но что от тебя осталось, Гийоме! Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха! В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался, и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов. Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок, прекрасные орудия твоего труда — твои руки — одеревенели и отказывались тебе служить; а когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути — бредешь, и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя, — назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который раз, ты вступа-

ешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Я поил тебя всякими целебными снадобьями:

— Пей, старик!

— И понимаешь, что было самое удивительное…

Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось — вот ты идешь в лютый сорокаградусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте четырех с половиной тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь, и силы, и рассудок и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей; возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть; падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки — ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь.

Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты це-

пенел, стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха — и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну.

— В снегу теряешь всякое чувство самосохранения, — говорил ты мне. — Идешь два, три, четыре дня — и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать. Но я говорил себе — если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь!

И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги. Ты поразил меня одним признанием:

— Понимаешь, уже со второго дня всего труднее было не думать. Уж очень мне стало худо, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду, голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности.

Неминуемо. И тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое…

Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег — и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире — раз, два, три… а там десятая — и конец.

— Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось — чего ради тянуть эту пытку?

Довольно было закрыть глаза — и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство: сомкнешь веки, и все пропадает — ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол — непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и, словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора.

Даже совесть твоя утихала. Наши призывные

голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал приветлив и ласков! И ты, скупец, решил у нас отнять радость своего возвращения.

В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль.

— Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если…

Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через четыре года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в пятидесяти метрах перед тобой торчит утес.

— Я подумал — если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут.

А поднявшись на ноги, ты шел еще две ночи и три дня.

Но ты вовсе не надеялся уйти далеко.

— По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые два часа или около того мне приходилось останавливаться — то еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь: опять я что-нибудь да забыл! Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя, не поднял. Потом забыл часы. Потом перочинный нож. Потом компас. Что ни остановка, то потеря…

Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново…

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Опять мне приходят на память эти слова — я не знаю ничего благороднее, эти слова определяют высокое место человека в мире, в них — его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так, значит, наше тело лишь послушное орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоме,

и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова:

— Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце начало сдавать… Ну и вот, ползу я по круче, подо мной — обрыв, пропасть, пробиваю в снегу ямку, чтобы сунуть кулак, и на кулаках повисаю — и вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да неуверенно, неровно. Чувствую — помешкай оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь — как оно там, внутри? Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты — собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю — а ну-ка, еще разок! Постарайся еще… Но сердце оказалось первый сорт. Замрет — а потом все равно опять работает… Знал бы ты, как я им гордился!

Задыхаясь, ты наконец засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей постели и думал: если заговорить с Гийоме о его мужестве, он только пожмет плечами. Но и восхвалять его скромность было бы ложью. Он выше этой заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает — люди, застигнутые катастрофой, уже не боятся. Пугает только неизвестность. Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть неизвестностью. А особенно — ес-

ли встречаешь ее вот так спокойно и серьезно. Мужество Гийоме рождено прежде всего душевной прямотой.

Главное его достоинство не в этом. Его величие — в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых, он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества — ведь они зависят и от его труда.

Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир.

И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками! Расхваливают их презрение к смерти. А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его не в сознании ответственности, оно — лишь свойство нищих духом либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца. Уж не знаю, какая несчастная

любовь толкнула его на это, но он старательно всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он следовал, натягивая перед этим белые перчатки, но помню — в этом жалком театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать человеческий разум, ничего не было, ровно ничего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких на свете великое множество.

Эта бессмысленная судьба напомнила мне другую смерть, поистине достойную человека. То был садовник, он говорил мне:

— Бывало, знаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь потом… Ревматизм мучит, ноги ноют, кляну, бывало, эту каторгу на чем свет стоит. А вот нынче копался бы и копался в земле. Отличное это дело! Так вольно дышится! И потом, кто теперь станет подстригать мои деревья?

Он оставлял возделанную землю. Возделанную планету. Узы любви соединяли его со всеми полями и садами, со всеми деревьями нашей земли. Вот кто был ее великодушным, щедрым хозяином и властелином. Вот кто, подобно Гийоме, обладал истинным мужеством, ибо он боролся со смертью во имя Созидания.

III. САМОЛЕТ

Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхание моторов, опираться на пятнадцать тонн металла; задачи, встающие перед тобой, в конечном счете — задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, над черной землей возник первый слабый проблеск, первый сноп света. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник — и возвращал тебе жизнь.

Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель. Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же ору-

дие, как плуг.

Нам кажется, будто машина губит человека, — но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, сто лет истории машины — такая малость! Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова — разлука, отсутствие, даль, возвращение, — но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, — но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку.

Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы — скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну.

Все мы — молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших

авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех выше, всех быстрей. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях поселился колонист! Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу — прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать.

Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и незаметней. Кажется, будто все труды человека — создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней

и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным — уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — это уже почти не машина.

Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь.

Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже не помним, что там

в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты.

В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг, как удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец мощь его вполне созрела — и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.

IV. САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА

1

Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо Земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее.

Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от

оазиса к оазису.

И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь.

И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций — они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново перечитываем свою

историю.

2

Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый Везувий: прямо на равнине разинуты жерла гаубиц.

Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников.

Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом догорающего дня, равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей.

Улепетывает заяц, взлетает птица — жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое наконец облеклось доброй плотью земли.

Незадолго до Пунта-Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы.

И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилась меж древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это чудо — человек. Редкостная удача! Бог весть как, бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху — краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней.

Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь: непостижимое существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к

себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами, лебедю знакомы все лебеди — и только люди замыкаются в одиночестве.

Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир! Между мною и этой девушкой стоят ее мечты — как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди — просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество.

Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда набрать воды; их удел — тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок; только это я о нем и запомню: славный малыш, навеки безутешный.

Я чужой. Я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владения.

До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды, и дружбы, и радостей! Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега, — откуда же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация — лишь хрупкая позолота: заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря — и они сгинут без следа.

Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле, полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Бос. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь — это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от Пунта-Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо — в нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам, и ни днем ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь,

единственная ветхая лодка, а под всем этим — воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. Окрест, до самого Магелланова пролива, под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот — город, кажется, он надежно построен на обжитой земле, и здесь ты дома, — а у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря.

3

Мы живем на планете-страннице. Порой благодаря самолету мы узнаем что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство — но я встречал и другие приметы.

Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они состоят из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье.

Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось, наши машины были в те годы хрупки и ненадежны — и, когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А

песок обманчив: понадеешься на его плотность — и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается — и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий — здесь-то не скрывалось никакой западни.

Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок — громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь — это видно было по срезу — все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк.

И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо.

Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но так радостно ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни.

В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил. Незапятнанно чистая скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернел камень.

Под ногами лежала трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не может быть никаких кам-

ней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни — плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, — каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку — плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза.

На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль, — никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом.

И естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали, — ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку.

Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длив-

шийся тысячелетия огненный ливень.

4

Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором мог отразиться, как в зеркале, этот огненный дождь. Среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье — чудо. А они приходили, раздумья…

Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может, безмолвие капкана, — и в этой тишине я уснул.

Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня, за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти головокружения я

чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину.

Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И, странно умиротворенный, я предавался ей всею своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Всем телом я чувствовал — земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось — моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля.

Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной баржи. Но земные толщи хранили безмолвие. Но плечами я ощущал силу притяжения — все ту же, гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я неотделим от родной планеты — так гребцы затонувшей галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки

остаются на дне морском.

Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал: на то, чтоб возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели и месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд, я сознавал, что обладаю только одной радостью — дышать…

Зато вдоволь было снов наяву.

Они прихлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда она, эта охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял — и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти.

Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек, что за важность, если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза: он

существует — и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя — в этом доме я родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах — и то донеслось до меня. Мне так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже лягушек.

Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала, пересчитывала. «Вот несчастье!» — восклицала она, заметив малейший признак обветшания, — ведь это грозило незыблемости всего дома! — и

сейчас же подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении чему-то великому — уж не знаю, какому богу или кораблю.

Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке, год от года у тебя прибавлялось морщин и седин, но ты все так же утопала по колена в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно приходил домой в изорванной рубашке («Вот несчастье!») и с ободранными коленками, и по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель! Я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах

нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны! Ну конечно, говорила ты, мальчики всегда носятся как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка! Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень. Ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом, без кровати, без простынь…

— Вот дикарь! — говорила ты.

Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой…

Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству.

Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение, оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть! Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны,

чем луна, чем все эти достоверности. Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены — наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности — и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где, точно воды родника, рождаются грезы…

Сахара моя, Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха!

V. ОАЗИС

Я уже столько говорил вам о пустыне, что, прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром — он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник — города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны и, словно кровеносные сосуды, питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера — и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы — пленник лужайки посреди уснувшего парка.

Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной, и молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис.

Расскажу об одной случайной стоянке в даль-

нем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии, но могло быть и где-нибудь еще: мир полон чудес.

Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете, меня подобравшей, ни в их стареньком «форде» не было ничего примечательного.

— Вы у нас переночуете…

И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом! Приземистая глыба, почти крепость. Но, едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель.

Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство; младшая, чуть надув губы, постучала о пол свежесрезанным прутиком; нас представили друг другу, девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку — и скрылись.

Было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна.

— Да-да, они у нас дикарки, — только и сказал отец.

И мы вошли в дом.

Мне всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой, — лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом, она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился.

Ибо все здесь обветшало и оттого было полно обаяния, точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья колченогие… Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымыто, надраено, все так и сверкало.

И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок — все было великолепно, а лучше всего паркет: кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой, точно зыбкие мостки, но притом, навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом, к нему нельзя было отнестись со снисходительной небреж-

ностью, напротив — он внушал величайшее уважение. Уж конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарования, тепла и дружелюбия, а кстати прибавлялось и опасностей, подстерегавших на пути из гостиной в столовую.

— Осторожно!

В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра, это уж время постаралось. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили: «Дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но…» Не говорили также, хоть это была чистая правда: «Город сдал нам этот дом на тридцать лет. Город и должен чинить. Посмотрим, чья возьмет…» До объяснений не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком:

— Да-да, обветшало немножко…

Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите — в эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров и

за одну неделю изменит дом до неузнаваемости, и вот вы — как в гостях. Не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами — не дом, а приемная в мэрии!

Не диво, что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки! Сразу догадываешься, что стоит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика — и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, прадедушкины счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезные, поневоле начинаешь думать да гадать, для чего они, и уже мерещатся подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет.

— Не угодно ли пожаловать к столу?

Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхал разлитый повсюду, точно ладан, запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые старинные лампы, их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как

во времена самого раннего моего детства, и от них на стенах оживали причудливые тени. Расцветали букеты огня, окаймленные пальмовыми листьями теней. А потом лампы водворялись на место, и островки света застывали неподвижно, а вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево.

Вновь появились обе девушки — так же таинственно, так же безмолвно, как прежде исчезли. И с важностью сели за стол. Они, верно, успели накормить своих собак и птиц. Распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфетки, они краешком глаза втихомолку следили за мной и примеривались — стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подданных, завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки — и все, от мангусты до пчел, их заслушивались.

И я ждал — вот сейчас эти две проказницы, беспощадным зорким взглядом насквозь прони-

зав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор — скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось:

— Одиннадцать!

И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я. Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных, по походке своей лисы понимали, хорошо она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах.

Я любовался этой зоркой, строгой и чистой юностью, но было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить «одиннадцать», я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя.

Тут не помогла бы даже лесть — тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость: они были о себе столь высокого мнения, что я ничего по-

хожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла, ведь и это не для робких — забраться на вершину платана только затем, чтоб поглядеть, оперились ли птенцы, и дружески с ними поздороваться.

Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо, удовлетворенная экзаменом, все же не преминула еще разок меня испытать; впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невиннейшим тоном — конечно же в надежде меня ошеломить, окажись я все-таки недостойным варваром:

— Это гадюки.

И умолкла очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение; тотчас обе как ни в чем не бывало склонились над тарелками, и лица у них были уж такие кроткие, такие просто-

душные… У меня поневоле вырвалось:

— Ах вон что… гадюки…

Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр — и это, оказывается, гадюки…

На свое счастье, я улыбнулся. И притом от души — притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь:

— Под столом в полу дыра, тут они и живут.

— И к десяти вечера возвращаются домой, — прибавила младшая. — А днем они охотятся.

Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко — живой лукавый ум, затаенная усмешка. И это великолепное сознание своей власти…

Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем. Но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг — прощанье с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настает день — и в юной девушке просыпается

женщина. Она мечтает поставить наконец кому-нибудь «девятнадцать». Этот высший балл — точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван. И неизменно проницательный взор впервые обманывается — и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта. Верят, что ему по душе ветхий, дырявый паркет, верят, что он любит мангуст. Верят, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам. Отдают ему свое сердце — дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны. И болван уводит принцессу в рабство.

VI. В ПУСТЫНЕ

1

На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не смели о таких блаженных передышках: пленники песков, мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и не часто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оазисов не встретишь: сады, молодые девушки — это просто сказка! Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченней становятся их нежные души. И сами они становятся все краше…

Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди камня и песка гаснет молодость, — но чудится, что там, вдалеке, стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях всколосились хлеба, расцвела красота женщин. Но время уходит, надо бы скорее возвратиться… Но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой… И лучшие земные дары ускользают меж пальцев,

словно мелкий песок дюн.

Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени, нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы — как пассажир скорого поезда: оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края, — но все неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка, ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца.

В довершение всего, пустыня — это еще и непокорные племена. По ночам в Кап-Джуби каждую четверть часа, точно бой башенных часов, тишину разрывали громкие голоса: от поста к посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джуби, затерянный среди непокорных племен, защищался от таящихся во тьме опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, слушали, как перекликаются часовые — и голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки. И все же мы

любили пустыню.

На первых порах вся она — только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она — родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу, — ведь он все равно что в пустынях Тибета, к нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пустыня — это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках…

Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие: от колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина, не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали, как любовь.

Сначала пески для нас просто пустыня, но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облик песков.

Мы подчинились правилам игры, и она преоб-

ражает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе, надо поверить в воду, как в Бога.

2

Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем — Ригель, Гийоме и я — мы потерпели аварию неподалеку от форта Нуакшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил, точно узник, старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно.

— Это ведь не шутка — когда можешь поговорить с людьми… Это не шутка!

Да, мы видели, что это не шутка: он плакал.

— За полгода вы — первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан…

Мы еще не успели опомниться. В двух часах лету от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник, и это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком сержантом, и он плачет от радости.

— Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить! Вы только подумайте, в тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина!

Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и

я ничего не выдумал. Сержант так и сказал:

— В последний раз и чокнуться-то было нечем… Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили.

Чокнуться! Выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок, все в форту до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней, предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался в даль — быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд…

Но вина не осталось, нечем отметить праздник. Нечем чокнуться. И некуда деваться от позора…

— Я так хочу, чтоб он поскорей вернулся. Так его жду…

— А где он, сержант?

Сержант кивает на пески:

— Кто знает? Наш капитан — он везде!

И настала ночь, мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть было не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете, только теперь они оставались на своих местах.

В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности. Потихоньку выравниваешь самолет. И селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да. Селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом схваченная пустыня, песчаные волны недвижны. Созвездия все развешаны по местам. И сержант говорит:

— Вы не думайте, уж я знаю, что где… Держи прямо вон на ту звезду — и придешь в Тунис.

— А ты из Туниса?

— Нет. Там у меня сестренка троюродная.

Долгое, долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть:

— Когда-нибудь возьму да и махну в Тунис.

Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе, у пересохшего колодца, им завладеет самозабвение бреда.

Тогда все перепутается — звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения.

— Один раз я попросил у капитана увольнительную — надо, мол, съездить в Тунис, проведать сестренку. А капитан и говорит…

— Что же?

— На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко.

— И красивая у тебя сестренка?

— Которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая.

— Нет, а другая, в Дакаре?

Мы тебя чуть не расцеловали, сержант, так печально и немножко обиженно ты ответил:

— Она была негритянка…

Что для тебя Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества. И сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками, там, за тысячи километров.

А для нас? Для нас пустыня — то, что рождалось в нас самих. То, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана…

3

Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды.

А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан — комендант форта — показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта, пески всасывают его, точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность — самая надежная наша защита, и воевать приходится

лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде.

В тот вечер мы обедали в форту, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции, за четыре тысячи километров, ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк». И едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал.

Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый. Мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом: караван — как магнит в ночи.

Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так!

Что только нам не грозит — болезнь, катастрофа, неприятель! Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И сенегалец-часовой, словно пророк, напоминает нам об этом.

— Французы! — откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком… Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками, и, однако, весь мир уже не тот. Пустыня снова предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия.

Одиннадцать часов. Люка возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В ноль часов десять минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени, с мохнатым полотенцем вокруг шеи, подхожу к двери и оглядываю нескончаемые пески; ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться: аварийные

фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаши при мне. Иду к Нери, сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну, как?» — спрашиваю. Пока все в порядке. Это вступление — самая несложная часть полета. Но тут я слышу — что-то потрескивает: о мой фонарик бьется стрекоза. И почему-то екнуло сердце.

Снова выхожу и смотрю — ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая, нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяются зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение — еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу — ветер совсем стих. По-прежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь — да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка.

Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы, чего ищут они за сотни километров от внутренних

оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, — верный знак, что в открытом море ярится ураган. Так и эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которой достигла ослабевшая волна.

Если бы за мною, в двадцати шагах, висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд — и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и десяти минут — все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустыни.

Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня: я почуял опасность, как дикарь чутьем, по едва уловимым приметам, угадывает, что сулит завтрашний день; с полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую

ярость в трепетных крылышках стрекозы.

4

В Сахаре мы сталкивались с непокорными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа, мы только пролетали над ними; осмелев, мавры даже заезжали в Джуби или Сиснерос: купят сахарную голову либо чай и опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались хоть кого-то из них приручить.

Иногда, с разрешения авиакомпании, мы брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь — ведь они убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Повстречавшись с нами где-нибудь в окрестностях форта, они даже не давали себе труда браниться. Просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были оттого, что мнили себя всемогущими. Не один такой владыка, выступая в поход с армией в триста воинов, повторял мне: «Скажи спасибо, что до твоей Франции больше ста дней пути…»

Итак, мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им

Франции. Они были соплеменники тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья.

Потом я снова навестил их шатры и услыхал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди никогда не видели ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи, ибо, по Корану, это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой: тридцать лет скорби и нищеты — и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но бог обманывает мавров — оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа — ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом нагие пески Сахары, которые простираются вокруг шатра и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что наболело на душе:

— Знаешь… ваш французский бог… он куда милостивей к французам, чем бог мавров к маврам.

Месяцем раньше им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду — точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким

грохотом.

— Отведайте-ка, — сказал им провожатый.

Это была настоящая пресная вода. Вода! Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца, и, если посчастливится его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода! В Кап-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку — с консервной банкой в руках они выпрашивают воду:

— Дай попить, дай…

— Дам, если будешь слушаться.

Вода дороже золота, малая капля воды высекает из песка зеленую искру — былинку. Если где-нибудь в Сахаре прольется дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за триста километров — туда, где теперь вырастет трава… Вода — она дается так скупо, за десять лет в Порт-Этьене не упало ни капли дождя, — а тут с шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира.

— Нам пора, — говорил провожатый.

Но они словно окаменели.

— Не мешай…

И замолкали и серьезно, безмолвно созерцали

это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее изливалось за одну секунду — можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам бог, и не могли они от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три мавра застыли на месте.

— Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте…

— Надо подождать.

— Чего ждать?

— Пока вода кончится.

Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится, он скупой.

— Да ведь эта вода течет уже тысячи лет!..

И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать-то о них поменьше, не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в боге…

— Ваш французский бог, понимаешь ли…

Но я-то их знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась, они в смятении, сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы фран-

цузское интендантство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что и говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды.

Но эти трое одной крови с Эль-Мамуном, эмиром Тразы (имя я, кажется, путаю).

Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом. Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы и чтили племена, вдоволь было видимых благ, — казалось бы, чего еще желать? Но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья — и вновь ушел к непокорным племенам.

Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости, что скоро угаснет, точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия Атара… Это обычно называют изменой. И диву даются — откуда такое безумие?

А между тем судьба Эль-Мамуна — это судьба многих и многих арабов. Он старел. А со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием

сделку с христианами, он все потерял, он загрязнил руки и изменил богу ислама.

И в самом деле, что ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом — а ведь когда-то Сахара была полна опасностей, за каждой песчаной грядой таилась угроза, и, раскинув на ночь лагерь, он никогда не забывал выставить часовых, и по вечерам у костра при вести о передвижении врага сильней бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов — а его, однажды изведав, уже не забыть. И вот он бесславно бродит по умиротворенным, утратившим свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине — пустыня.

Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение. Но любовь к Аллаху превыше всего.

— Спокойной ночи, Эль-Мамун.

— Да хранит тебя бог.

Офицеры заворачиваются в одеяла, растягиваются на песке, точно на плоту, лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле Премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно

будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться, — и униженные племена вновь обретут былое величие, и вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески… Еще мгновенье — и совершится непоправимое, и с ним родится новый мир… И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают.

5

Нынче я в Джуби, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муйану и пью чай у них в шатре. Муйан, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня — он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен долгу хозяина:

— Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы — все твое.

Глядя на меня в упор, Муйан наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании.

— Что он сказал?

— Сказал — Боннафу украл у Р'Гейбата тысячу верблюдов.

Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается оттого, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов — и, чтобы уберечь

самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так, явившись, точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там — завидная добыча! Он манит все взоры, и, влекомые неодолимой силой, племена устремляются на его меч. Муйан смотрит на меня еще суровей и опять что-то говорит.

— Что он сказал?

— Сказал — завтра мы пойдем на Боннафу. Триста ружей.

Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят верблюдов на водопой, о чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плаванье невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости Боннафу каждый шаг к югу овеян славой. И, право, не знаю, что ведет людей — ненависть или любовь.

Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лестно убить! Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу, — но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из

блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — два месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, — и, наконец, на рассвете обрушиться врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Боннафу.

— Боннафу силен, — признается мне Кемаль.

Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается с боку на бок, уязвленный, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо, — так не дают им покоя далекие шаги Боннафу. Обойдя выступившие против него отряды, этот христианин, одетый мавром, с двумя сотнями полудиких головорезов проник в непокоренный край, — а ведь здесь уже не властны французы. Здесь любой из его же людей может сбросить ярмо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему богу; здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним; его беззащитность — и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах, опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни.

Муйан все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченный из синего гранита. Только сверкают глаза да серебряный кинжал — он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных! Больше чем когда-либо он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает — ибо он пойдет войной на Боннафу, с рассветом он выступит в поход, движимый ненавистью, которая так похожа на любовь.

И опять он наклоняется к брату, что-то говорит вполголоса и смотрит на меня.

— Что он сказал?

— Сказал — если встретит тебя подальше от форта, застрелит.

— Почему?

— Он сказал — у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть Боннафу, но у тебя нет истины.

Муйан недвижим, складки синего покрывала на нем точно каменная одежда статуи, он выносит мне приговор.

— Он говорит — ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо, он сам видел. Он говорит — ты никогда не молишься. Он говорит — на что тебе твои самолеты, и радио, и твой Боннафу, раз у

тебя нет истины?

Этот мавр великолепен, он защищает не свободу свою — в пустыне человек всегда свободен, — и не сокровища, видимые простым глазом, — в пустыне их нет, — он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Боннафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков, и вот лагерь Кап-Джуби преобразился, мирной стоянки беззаботных пастухов как не бывало. Словно бурей, смята она дыханием Боннафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие, от него замирает сердце: это безмолвствует Боннафу! И Муйан, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Боннафу.

Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет, они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов и жизнь потускнеет. И они станут говорить мне:

— Почему он уезжает, твой Боннафу?

— Не знаю…

Долгие годы он играл с ними в опасную игру — ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне и, как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно в

библейские времена. И вот он уезжает, — значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены — есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка? Но нет, им хочется верить в него.

— Твой Боннафу еще вернется.

— Не знаю.

Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучат и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильнее бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там, во Франции, его ждет самое важное, но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня, — здесь ему было дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать — он спит где-то посреди Сахары, окруженный двумя сотнями своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут

побольше ячменя. Проверят ружья. Движимые своей ненавистью — или, быть может, любовью.

6

— Спрячь меня в самолете и отвези меня в Марракеш…

Каждый вечер невольник мавров в Кап-Джуби обращал ко мне эти слова, как молитву. И, совершив, таким образом, все, что мог, для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день — ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному богу, который может его спасти. И, склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого — черную землю родного Марракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь: я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу.

А между тем я, простой пилот, лишь несколько месяцев, как стал начальником аэропорта в Кап-Джуби; в моем распоряжении только и есть

что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая, не по росту, койка — и я не так обольщаюсь насчет своего могущества.

— Ну-ну, Барк, там видно будет…

Все невольники зовутся Барками, так зовут и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился: не может забыть, что был когда-то королем.

— Что ты делал в Марракеше, Барк?

В Марракеше, наверно, и по сей день живут его жена и трое детей, и он там занимался отличным ремеслом:

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед!

Там его призывали каиды:

— Я хочу продать своих быков, Мохамед. Пригони их с гор.

Или:

— У меня тысяча баранов на равнине, отведи их повыше, на пастбища.

И Барк, вооружась скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ, он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых, он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались.

Он один знал, какая земля обетованная их ждет: богатый ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда — утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность: растроганный слабостью и неведением стольких живых тварей, Барк — лекарь, пророк и повелитель — молился о своем народе.

Однажды к нему приступили мавры:

— Пойдем с нами на юг за скотом.

Шли долго, на четвертый день углубились в горное ущелье — тут уже начинались владения непокорных племен, — и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк и продали в рабство.

Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме (единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище) и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота

усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность — и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю.

Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища — замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочая дребедень, невесть как занесенная сюда, в пески, точно обломки кораблекрушения.

И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник — со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят, его дело — готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет — скорей бы обжег новый день. Счастливы северные страны, там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтою о снеге, зимой — о солнце; печальны тропики, там всегда одна и та же влажная духота; но счастлива

и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде.

Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнятся удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне, он словно ослеп — ведь ему больше не видны медленные реки Сенегала или белые города Южного Марокко, он словно оглох — ведь ему больше не слышны родные голоса. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам, — что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно, все равно что умерли.

Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества. И, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно

служить другим, слиться с мирным житейским обиходом. И раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню.

— На, бери, — говорит иной раз вождь пленнику.

В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий, изнурительный день позади, зной спадает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. К чему они? Ведь он так предан! Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли, — теперь он всего лишь счастливый раб.

Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его в услужение, — а на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в Джуби нагие рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию, а ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и спозаранку бежали

поглядеть, шевелится ли он еще, — но глядели просто из любопытства, они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть — ложись и спи». Так он и лежал, простертый на песке, ощущая голод — всего лишь головокружение, — но совсем не чувствуя несправедливости, а ведь только она и мучительна. Понемногу он сливался с землей. И земля принимала иссушенные солнцем останки. Тридцать лет работы давали право на сон и на землю.

Немало я видел таких обреченных; первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы; впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывалась смутная покорность, с какою принимает гибель обессилевший горец, — зная, что уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения. В мучения я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы в нем гаснут? Что там медленно тонет в забвении — плантации Сенегала? Снежно-белые города Южного Марокко? Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы: приготовить

бы чай, погнать стадо на водопой… быть может, засыпает душа раба, — а может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну, — яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле.

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед…

Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу, в один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец, — но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная Богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя — а ведь другие сдавались

так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб!

Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего. Он не признавал радостей раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мохамеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось незанятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться! Барк был точно поседелый сторож, что умирает от верности среди заросших травою аллей, среди тоскливой тишины.

Он не говорил: «Я — Мохамед бен-Лаусин», он говорил: «Меня звали Мохамед», он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохамед вновь оживет и самым воскресением своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тиши на него нахлынут воспоминания — живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам: «Среди ночи он вдруг говорит про Марракеш, говорит, а сам плачет». Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой, — и здесь, в пустыне, где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал

рядом жену. Здесь, где испокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песня родника. Барк закрывал глаза — и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживала неведомо почему, словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало как магнит — и тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь, и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался:

— Завтра пойдет почта на Агадир… Ты спрячь меня в самолете…

Бедняга Барк!

Как могли мы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. За такой грабеж, за такое оскорбление мавры назавтра же отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков — Лоберга, Маршаля, Абграля — я пытался выкупить Барка, но маврам не часто

попадаются европейцы, готовые купить раба. И они рады случаю:

— Давайте двадцать тысяч франков.

— Да ты что?!

— А вы поглядите, какие у него сильные руки…

Так проходили месяцы.

Наконец мавры сбавили цену, и с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось его купить.

Сговорились мы не сразу. Торговались целую неделю. Сидели кружком на песке — пятнадцать мавров и я — и торговались. Мне украдкой помогал приятель хозяина Барка, разбойник Зин уль-Раттари: он был также и мой приятель. И по моей подсказке советовал хозяину:

— Да продай ты старика, все равно ему недолго жить. Он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он как начнет пухнуть. Продай его французу, пока не поздно.

Другому головорезу, Рагги, я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку, и Рагги искушал хозяина Барка:

— На эти деньги ты купишь верблюдов, и ружья, и пули. И пойдешь войной на французов. И добудешь у Атара трех новых рабов, а то и четырех, молодых и здоровых. Отделайся ты от

этого старика.

И мне его продали. Шесть дней кряду я держал его взаперти в нашем бараке: начни он разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-нибудь подальше.

Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились марабут, прежний хозяин Барка и здешний каид Ибрагим. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной, но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ.

— Теперь ты нам сын.

По закону он стал сыном и мне.

И Барк перецеловал всех своих отцов.

До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По двадцать раз на день приходилось описывать предстоящее ему несложное путешествие: самолет доставит его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Марракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника: возвращение к жизни, и автобус, и толпы народу,

и города, которые он скоро увидит после стольких лет…

Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгралем решили — не годится это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него тысяча франков — с этим он не пропадет, покуда не найдет работу.

И я подумал: старые дамы-благотворительницы раскошелятся на двадцать франков — и уверены, что «творят добро», и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграль, давая тысячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же: едва хмельной от радости Барк попадет домой, его встретит верная подруга — нищета, и через каких-нибудь три месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут, в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких.

— Ну вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком.

Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Кап-Джуби. У самолета собрались сотни две мавров: всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки.

И мы, не без тревоги выпуская в свет нашего пятидесятилетнего новорожденного, машем ему на прощанье:

— Прощай, Барк!

— Нет.

— Как так «нет»?

— Я не Барк. Я Мохамед бен-Лаусин.

Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире.

Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова; наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился:

— Что с тобой?

— Ничего…

Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. Да,

конечно, ему радостно, но, если не считать этой неясной радости, сегодня он — все тот же Барк, каким был вчера. А ведь отныне он — равный среди людей, теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел. Потребовал чаю для Абдаллы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба: у него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга нимало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека.

— Пойдем куда-нибудь еще, — сказал Барк.

Они поднялись к Касбе, — квартал этот господствует над Агадиром.

Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что Барк воспрянул духом, ему показалось — сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил: «Я Мохамед бен-Лаусин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев…

Он опять потащил Абдаллу в город. Он бродил среди еврейских лавчонок, и глядел на море, и думал, что вот он волен идти куда хочет, он свободен… Но эта свобода показалась ему горька — он затосковал по узам, которые вновь соединили бы его с миром.

Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный к лести. Это был маленький заморыш, Барк подарил ему ласку — и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморыш, благодаря Барку он улыбнулся — и вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрезжило впереди, и он ускорил шаг.

— Ты что ищешь? — спросил Абдалла.

— Ничего, — отвечал Барк.

Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. Вот оно. Он молча поглядел на них. Отошел к еврейским лавчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился:

— Дурак, чего зря деньги тратишь!

Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к

туфлям, расшитым золотом. И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь.

Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул в шитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение.

По мнению Абдаллы, Барк «с радости рехнулся». Но, по-моему, суть не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья.

Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое: право добиваться любви, право идти куда вздумается и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги… они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился, он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах — все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен, да

— слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей — всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды…

Так, в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда — и он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе, и, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать — зашить в пояс кусок свинца, — шел Барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны

шитые золотом туфли.

7

Такова пустыня. Коран (а это всего лишь правила игры) обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста, меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески покоренные и непокоренные! И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли, — весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями, здесь по-особенному звучали шаги, и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому не доступный. Но вот становишься взрослым, живешь по иным законам — и что остается от парка, полного теней детства — колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной

из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом: как странно, что они так малы и тесны — владения, которым когда-то не было ни конца, ни края… и как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата, — ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру.

И непокоренной пустыни уже нет. Кап-Джуби и Сиснерос, Пуэрто-Кансадо, Ла-Сагуэт-эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеет в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым — но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях; стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни. А другие, может быть, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали. Ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее: они дарили один только час восторга — и этот час достался нам.

Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии, я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было.

VII. В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

1

На подступах к Средиземному морю я встретил низкую облачность. Спустился до двадцати метров. Дождь хлещет в ветровое стекло, море словно дымится.

Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно, того и гляди напорешься на какую-нибудь мачту. Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты.

— Кофе…

Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку газа, держусь на двух тысячах ста оборотах. Обвожу взглядом приборы — мои подданные послушны, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море — в дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так «изрыто». Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не изрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру, мне чужому. Вынужденная посадка здесь — это не по

моей части, это меня даже не страшит — для моря я не предназначен.

Лечу уже полтора часа, дождь стихает. Тучи все еще стелются низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепны эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверно, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонкий. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь, — уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе…

Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис — совсем как ячменные поля Южного Марокко, при виде которых у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Сенегала, пролетев три тысячи километров над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края, и становится веселей на душе. Оборачиваюсь к Прево:

— Ну, теперь живем!

— Живем… — откликается он.

Тунис. Самолет заправляют горючим, а я покуда подписываю бумаги. Выхожу из конторы — и тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюхнулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое

— что это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли два человека. Оборачиваюсь — над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли, два автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед вмерзли. К ним бегут люди, бегут и сюда, к конторе.

— Телефон… доктора… голова…

У меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рок. Погублена красота, разум, быть может — жизнь… Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег. И опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь… А рядом кто-то говорит — проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету. Но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня. И скоро я вновь услышу знакомый звук. Когда на скорости двести семьдесят километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель, грозное «ха!» подстерегавшей нас судьбы.

В путь, на Бенгази.

2

В путь.

Стемнеет только через два часа. Но уже перед Триполитанией я снял черные очки. И песок стал золотой. До чего же пустынна наша планета! Быть может, и вправду реки, тенистые рощи и леса, людские селенья — все рождено лишь совпадением счастливых случайностей. Ведь наша Земля — это прежде всего скалы и пески!

Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия — полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником, точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезнет без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отсветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет.

Итак, прощай, солнце. Прощайте, золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись какая-нибудь поломка… Прощайте, ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощай-

те, темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую, по приборам. У меня остается лишь один союзник — звезды…

Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимей не хватает света. Все трудней различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий.

Прево зажигает на пробу основные и запасные лампочки. Обертываем их красной бумагой.

— Еще раз…

Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем. Но свет еще слишком яркий. Словно на засвеченной фотографии, от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но подлинная ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прево уходит в хвост самолета и

приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется. Ни есть, ни пить. И я ничуть не устал, кажется, могу хоть десять лет так лететь.

Луны больше нет.

В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде ни проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку — и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара, взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, примечаю возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду.

Приземляюсь в двадцать три часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. Хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За двадцать минут все готово к отлету.

— Сделайте над нами круг, дайте знать, что у вас все благополучно.

В путь.

Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина — «Самум», — несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводят в сторону — догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас, отпрянув, длинным золотым жезлом указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Опять разворачиваюсь, беру курс на пустыню.

Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью тридцать-сорок километров в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все триста. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это мне поможет миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за три часа двадцать минут. Если спадет — за три сорок пять. Начинаю одолевать тысячу с лишним километров пустыни.

Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь, до самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу нигде признаков жизни, смотрю только на компас да на авиагоризонт Сперри. Слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте две тысячи метров, мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка зажигаю лампочку, проверяя работу мотора, — не все приборы у меня светящиеся; а потом опять остаюсь в темноте, среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неиссякаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком.

И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чужд всего земного. А вокруг все словно вымерло. Прево держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество. Только мягко рокочет мотор, да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды.

А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленный огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке, мы пересекаем мертвую долину, черную долину испытаний. Здесь никто не поможет. Здесь нет прощенья ошибкам. Что с нами будет, одному Богу известно.

Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево — это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла. Мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов.

Мы летим уже три часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то раз-

горается, то меркнет — вот оно что, я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием, засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче, от него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает — начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту две пятьсот — вокруг все то же. Спускаюсь до тысячи метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче.

Ладно. Как-нибудь. Ничего не поделаешь. Будем думать о другом. Там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение — кабак, да и только.

Прикидываю: сейчас приходится поплясать, это в порядке вещей, но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хоть высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала триста километров в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков.

И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению понимаю, что облака остались позади. Всматриваюсь — передо мною, насколько можно разобрать,

нешироκий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле.

Вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь, если я не ошибся в расчетах, до Нила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки. А снижаться боязно: если скорость была меньше, чем я думал, подо мною все еще плоскогорья.

Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию — через четыре часа и пятнадцать минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии (а ветер, конечно, был) долина Нила не могла не остаться позади.

Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще — и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи.

Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта звезда волхвов, этот опасный призыв.

Проснулся Прево, зажигает лампочку, проверяя

обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там, внизу. Прево опять засыпает. Ничего там не высмотришь.

Мы летим четыре часа пять минут. Подошел Прево, сел рядом.

— Пора бы уже прибыть в Каир…

— Да, не худо бы…

— А там что, звезда или маяк?

Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прево. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков.

Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорья уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря, я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток.

Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400, но кто знает, какое здесь

давление у земли. Прево наклоняется ко мне. Кричу ему:

— Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить!

Впрочем, ничего не известно, может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни.

— Морской маяк!

Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк-привидение, эта ночная небылица? Мы с Прево приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в трехстах метрах под нами, и вот тут-то…

— А!

Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться вдребезги. На скорости двести семьдесят километров в час мы врезались в землю.

Потом сотую долю секунды я ждал: вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба

исчезнем. Ни Прево, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание: вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда — и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла, на сто метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, с маху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая… Самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал — вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Эта дрожь, эта ярость, эта непонятная медлительность? Пять секунд… шесть… И вдруг нас завертело, новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло — и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Прево:

— Прыгайте! Скорей!

В ту же секунду крикнул и он:

— Сгорим!

Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в двадцати метрах от самолета. Спрашиваю Прево:

— Целы?

— Цел! — отвечает он и потирает колено.

— Пощупайте себя, — говорю. — Двигайтесь. У вас ничего не сломано? Честное слово?

А он отвечает:

— Пустяки, это запасной насос…

Мне почудилось — его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет наземь, но он смотрел остановившимися глазами и все твердил:

— Это запасной насос…

Мне почудилось — он сошел с ума, сейчас пустится в пляс…

Но он отвел наконец глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил:

— Пустяки, запасной насос стукнул меня по коленке.

3

Непостижимо, как мы уцелели. Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. Уже за двести пятьдесят метров от того места, где самолет остановился, мы находим искореженные обломки металла и сорванные листы обшивки, они раскиданы вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогорья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся, он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости двести семьдесят в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку, — мы съехали, точно на катках.

Опасаясь короткого замыкания — как бы все-таки не случился пожар, — Прево отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю: мы летели четыре часа с четвертью, и, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала пятидесяти километров в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся — и кто знает, в

каком направлении? Значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в четыреста…

Ко мне подсаживается Прево.

— И как это мы остались живы…

Не отвечаю и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя.

Прошу Прево засветить свой фонарь, чтоб он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги. Медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление. И все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть… так и есть… Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал — есть ли надежда — и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак, — и не дождался.

— Прево, я не видал ни единой травинки…

Прево молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди

пустыни, когда ориентируешься с точностью до четырехсот километров… И вдруг вскакиваю на ноги:

— Вода!

Баки разбиты, бензин и масло вытекли. Вода тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело пол-литра кофе, на дне другого — четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один-единственный апельсин. И я прикидываю: в пустыне под палящим солнцем этого едва хватит на пять часов ходу…

Забираемся в кабину, будем ждать утра. Ложусь, надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы — неизвестно. Питья — меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, и это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего: нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров.

— Экая досада, — говорит Прево.

— Что такое?

— Уж лучше бы разом конец!..

Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с Прево бе-

рем себя в руки. Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды — быть может, совершится чудо и спасенье все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте — вдруг где-то рядом оазис? Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером вернемся к самолету. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать.

Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок, в полусне оживают голоса, воспоминания, кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда, мне хорошо, я вверяюсь сну, как приключению. И действительность отступает… Да, наутро все стало по-другому!

4

Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокорных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра зыбь, как на море. И засыпал под крылом самолета и ждал помощи, — но то было совсем, совсем иначе. Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных, словно галька. Похоже на металлическую чешую, купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню.

Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтоб оставался след — путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков, и время, проведенное в полете, — все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад — и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад пойдем завтра. И от севера пока откажемся,

хоть эта дорога и ведет к морю. Через три дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток-северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу: в той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы, — ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю — смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни.

Идем уже пять часов, картина вокруг меняется. Перед нами долина, на дне ее струится песчаная река, и мы пускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше, и, если ничего не найдем, вернуться дотемна. Вдруг я останавливаюсь:

— Прево!

— Что?

— Про след забыли…

Когда же мы перестали тянуть за собой бороз-

ду? Если мы ее не отыщем — конец.

Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подальше, свернем еще раз под прямым углом и тогда наверняка пересечем старый след.

Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разливается на пути озеро, а подойдешь ближе — и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже шесть часов. Отмахали, наверно, добрых тридцать пять километров. Взбираемся на самую макушку черного купола, садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка, — сверкающая белизна слепит, жжет глаза. Пустыня, пустыня без конца и края. Но на горизонте игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими, ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно, оно прикидывается рощей, но над ним нависло облако — последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща — лишь тень громоздящихся облаков.

Дальше идти нет смысла, никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету, этот красно-бе-

лый бакен, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха, и все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды, надолго она не отпустит.

Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди — жизнь! Быть может, там, за миражом, и в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю, он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю, а чувство такое, словно идешь ко дну.

Лежим возле самолета. За день отшагали шестьдесят километров с лишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить…

Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния, он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер… Только где люди?

И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю — он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся!

Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Глаза вопрошают. Сколько взглядов, и в каждом — упрек: почему я молчу? Но я отвечаю! Отвечаю! Отвечаю, как только могу, не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи!

Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли: шестьдесят километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте да потягивать из фляги. Но в тот миг, когда я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время. В тот миг, когда я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как река. Прево плачет. Хлопаю его по плечу. Говорю в утешение:

— Подыхать так подыхать…

И он отвечает:

— Да разве я о себе…

Ну конечно, я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь: вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз бывал я в таких переделках, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытия еще поудивительней. И хоть мы запалили такой огромный костер, Бог свидетель, я уже не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей…

«Да разве я о себе…» Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания, — и едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь!

Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором

нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести, так же, как и я.

Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли — когда уснешь, будет уже все равно. И тогда — безграничный покой! Но там — там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии… думать об этом нестерпимо. Там погибают, не могу я смотреть на это сложа руки! Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне: отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь!.. Мы идем!.. Идем!.. Мы спасем вас!

Магний сгорел, пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья, мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать.

Что ж. Буду спать.

5

На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прево сказал:

— Хорошо, хоть револьвер есть.

Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен! Не желаю знать никаких чувств, все просто, очень просто. И родиться. И вырасти. И умереть от жажды.

Искоса слежу за Прево, если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят: «Хорошо бы вымыть руки». Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других. О том, что мы бессильны успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем.

Нас все еще не ищут, то есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только

на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянной черными точками камней, мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль о летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что спасители наши кружат в другом мире.

Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее чем за две недели найти его невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику: пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Прево подаст мне знак — разожжет костер… но никто нас не отыщет.

Итак, я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминаю все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на сорока процентах, а здесь падает до восемнадцати. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры

колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только девятнадцать часов. А когда пройдет двадцать часов, перед глазами вспыхивает яркий свет — и это начало конца: жажда бросается на вас и разит, как молния.

Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет?

Итак, я ухожу, а чувство такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан.

А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как апаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то, неведомо чьи, норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы — они пусты.

Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести, я на это и не надеялся.

Нет, я не разочарован, напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь, в пустыне, зверье и чем оно кормится? Скорее всего, это фенеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть

— иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку, на песке четко отпечатался каждый шаг фенека. Прелесть что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегает от камня к камню и слизывает ночную росу. А здесь следы реже: мой лис пустился вскачь. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как отрадно мне следить за этой утренней прогулкой. Как славно видеть, что и здесь есть жизнь. И кажется, уже не так хочется пить…

Но вот наконец и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на сто метров, чуть видны над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски; они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете фенек отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы.

Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостаивает вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно — не объедает начисто. Снимет две-три ракушки — и отправляется в другой ресторан.

Что это, игра? Может быть, он не хочет насытиться разом, хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но фенек осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков, больше того — он ни за что не снимет с одной и той же веточки двух улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет. А без улиток не станет и фенеков.

Следы вновь привели меня к норе. Фенек сейчас дома, конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. И я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка… но представь, мне и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь…»

Стою в раздумье… да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через тридцать он

умрет. А тридцать лет или три дня… тут все дело в том, какой мерой мерить…

Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать…

И опять иду своей дорогой, усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, а я сам их вызываю…

— Э-эй!

Поднимаю руки, кричу — там человек, он мне машет… нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять обломанную ветвь — она из мрамора! Выпрямляюсь, смотрю по сторонам — вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силы ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих

песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные — черней, чем железный панцирь, одевающий холмы, — меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах, — зачем я здесь, в царстве вечности?

Со вчерашнего дня я прошел уже километров восемьдесят. Кружится голова — наверно, от жажды. А может, от солнца. Оно блещет на этих точно маслом смазанных обломках окаменелых стволов. На этом панцире Вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц. Осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне. И солнце гулким молотом бьет меня по голове. Но что это?..

— Эй! Э-эй!

— Ничего там нет, успокойся, ты бредишь.

Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам. Так трудно не кинуться со всех ног за караваном… вот же он идет… вон там… видишь?..

— Дурень, ты его просто выдумал, ты и сам это знаешь…

— Тогда все на свете обман…

Все на свете обман, но вот на холме в двадцати километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк…

Но море не в той стороне. Значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях: церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидел на карте черную точку. Опять посмотрел на поля — постоянный колодец… Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос: «Постоянный колодец… постоянный колодец… постоянный колодец!» Что перед этим чудом все сокровища Али-Бабы? Чуть подальше я заметил два белых кружка и на полях прочел: пересыхающий колодец. Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди, — ничего. Ничего.

Так вот она, миссия или монастырь! Монахи воздвигли на холме огромный крест — путеводный знак для погибающих! И надо только идти прямо на него. Надо только бежать прямо к этим доминиканцам…

— Да ведь в Ливии нет никаких монастырей,

кроме коптских.

— …прямо к этим ученым доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, под ржавым насосом, — как не догадаться! — под ржавым насосом и есть постоянный колодец! Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол…

— Дурень, о чем ты? Такие дома — в Провансе, да и там нет никакого колокола.

— …я позвоню в колокол. Привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам Бог вас послал!» — и созовет всю братию. И монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь. И отведут меня на кухню. И скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас… мы только сбегаем к постоянному колодцу». И я задрожу от счастья…

Но нет, не стану плакать только оттого, что там, на холме, уже нет никакого креста.

Все посулы запада — ложь. Круто поворачиваю на север. Север — он хотя бы полон песнью моря.

Итак, я одолел перевал — и передо мною распахнулась необъятная ширь. А вот и прекраснейший город на свете.

— Ты же и сам знаешь, что это мираж.

Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не проведешь. Ну а если я так хочу — гнаться за миражом? Если я хочу надеяться? Если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем? Если мне нравится идти к нему все прямо, прямо, легкими шагами, — ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив… Прево со своим револьвером просто смешон! Мое опьянение куда лучше. Я пьян. Я умираю от жажды!

Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь — я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает. Даль нага и безрадостна; колодца, дворцов, пышных риз как не бывало. Вокруг пустыня.

— Вот чего ты добился! Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся — и не будет возврата.

— Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля, ведь сейчас, быть может, я открою… да, я уже открываю объятия морю…

— Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря, уж наверно, не меньше трехсот километров. А возле вашего «Самума» ждет Пре-

во! И может быть, его уже заметил какой-нибудь караван… Ладно, я вернусь, но спервa позову, вдруг люди близко.

— Э-эй!

Черт побери, обитаемая это планета или нет?

— Э-эй! Люди!..

Я охрип. Уже нет голоса. Просто смешно так вопить… Все-таки попробуем еще раз:

— Лю-ди!

Это звучит так высокопарно и неестественно… И я поворачиваю назад.

Шагаю два часа, и вот уже виден отсвет огромного костра — в страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес. А мне все равно…

Еще час ходу… Еще пятьсот метров. Еще сто. Еще пятьдесят.

— О-о!

Останавливаюсь, пораженный. Такая радость нахлынула, от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с двумя арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним… не так долго пришлось бы маяться! Радостно кричу:

— Э-эй!

Бедуины так и подскочили, обернулись и смот-

рят на меня. Оставив их, Прево один идет мне навстречу. Открываю объятия. Прево поддерживает меня под локоть — разве я падал? Говорю ему:

— Ну вот и они!

— Кто?

— Арабы!

— Какие арабы?

— Да эти, которые тут, с вами!..

Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну:

— Никаких арабов тут нет…

Вот теперь я, наверно, заплачу.

6

Здесь можно прожить без воды только девятнадцать часов, а что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель росы на рассвете! Но северо-восточный ветер все еще держится — и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону сгущаются в небе облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь! Но в пустыне дождей не бывает.

— Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники. Разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро выжмем это тряпье в бак из-под бензина, все-таки наберется немного росы.

Мы разостлали под звездами шесть белых полотнищ. Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра.

Среди обломков Прево отыскал настоящее чудо — апельсин! Делим его пополам. Я вне себя от радости, а между тем один апельсин — такая малость, ведь нам нужно двадцать литров воды!

Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плод и думаю: люди не зна-

ют, что это такое — апельсин. И еще думаю: мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина — и это одна из самых отрадных минут моей жизни…

Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще: в жизни каждое положение — это особый мир, его законы можно постичь только изнутри. Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя сигарета и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие. И если он улыбается, все думают: какое мужество! А он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой, и этот последний час для него — целая жизнь.

У нас скопилось неслыханное богатство — пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено! Мы спасены, мы будем пить!

Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уж такая желто-зеленая и вкус у нее до того мерзкий, что, как ни извелся я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я

бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды.

Смотрю на Прево — он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял. И вдруг, не переставая кружить, наклоняется — и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорог — падаю на колени, впиваюсь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова, так проходит четверть часа, под конец нас рвет желчью.

Кончено. Только еще мутит немного. Но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что в этом виновато — вещество ли, которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть, другую ткань.

Что ж, пора! Уже светло. В путь! Прочь от этого окаянного плоскогорья, будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме, со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут.

И снова убеждаемся — это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет! Те, для кого так грозно наше молчание. Те, кого уже

терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить! Вот и Гийоме, возвратясь из Анд, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Эта истина справедлива для всех.

— Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал, — говорит Прево.

И мы идем на восток-северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас в глубь Аравийской пустыни.

О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорей, скорей, все равно, что впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел, упорно глядя под ноги, миражи мне осточертели. Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтоб немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше — провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке.

Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше: эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнища парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и

утолим жажду. Попробуем опять разостлать под звездами наши ловушки для росы.

Но в этот вечер небо на севере ясное, ни облачка. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается! Вот он лижет нам руки, лицо…

А все-таки надо сделать привал, мне сейчас не пройти и десяти километров. За три дня я прошел сто восемьдесят, даже больше, и ничего не пил. Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит:

— Озеро! Честное слово!

— Вы с ума сошли!

— Да ведь сумерки, откуда сейчас возьмется мираж?!

Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить? А он твердит свое:

— До него минут двадцать ходу, пойду погляжу…

Это упрямство меня бесит:

— Что ж, подите поглядите… гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом, соленое,

нет ли, оно же у черта на рогах! И нет его совсем.

Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу! И я думаю: бывают же безумцы, кидаются под поезд — не удержишь. Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там, а я умру здесь. И все это неважно, все пустяки…

Мной овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим! Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро оделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!»

Интересно, долго ли я еще протяну. Пытаюсь набрать слюны — сколько часов я не сплевывал? Но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через два часа — конец.

Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да, да… я плыву, я на корабле! Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность и ничего не властен изменить. Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и ногам.

Думаю о Прево — он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек.

А, вот он — размахивает фонариком в пятистах метрах от меня. Он потерял свой след! У меня нет фонаря, нечем сигналить в ответ — поднимаюсь, кричу, но он не слышит…

За двести метров от него вспыхивает еще один фонарик, и еще. Бог мой, да ведь это помощь, меня ищут! Кричу:

— Э-эй!

Но меня не слышат.

Три фонаря призывно сигналят, опять и опять. Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. И я

спокоен. Внимательно всматриваюсь. За пятьсот метров от меня горят три фонарика.

— Э-эй!

Опять не слышат.

Тут меня охватывает страх. Короткий приступ, он больше не повторится. Надо бежать! «Подождите!.. подождите!..» Сейчас они повернут обратно! Пойдут искать в другом месте, а я погибну! Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать!

— Э-эй! Э-эй!

— Э-эй!

Услышали. Задыхаюсь — задыхаюсь и все-таки бегу. Бегу на голос, на крик. Вижу Прево — и падаю.

— Ох, когда я увидал все эти фонари…

— Какие фонари?

Да ведь он один!

Во мне поднимается уже не отчаяние, а глухая ярость.

— Ну, как ваше озеро?

— Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых полчаса. Но все равно было еще далеко. И я повернул. Но теперь я уверен, это самое настоящее озеро.

— Вы с ума сошли, вы просто сошли с ума. Ну

зачем вы так? Зачем…

Что он сделал? Что — зачем? Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Прево срывающимся голосом объясняет:

— Я так хотел найти воду… у вас совсем белые губы!

Вот оно что… Ярость моя утихает. Провожу рукой по лбу, словно просыпаюсь, и мне становится грустно. Говорю негромко:

— Я видел три огонька — совсем ясно, вот как вас сейчас вижу, ошибиться было невозможно. Говорю вам, Прево, я их видел!

Прево долго молчит.

— Да-а, — признается он наконец, — плохо дело.

В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, густея без воды, едва течет по жилам, леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода — странно, что только делает с человеком жажда!

Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил. А ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть. Ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет — падаю на колени, обхватываю голову руками и жду: сейчас опустится меч убийцы!

Немного погодя ловлю себя на том, что поднялся и, весь дрожа, иду сам не знаю куда! Где это я? Вот оно что — я ушел, и Прево меня зовет! От его криков я и очнулся…

Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю. И говорю себе: это не от холода. Нет. Это конец. Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один.

Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Крест на холме, арабы, фонари — это становилось даже занятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба… И вот я опять на коленях…

Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. Сто граммов чистого эфира, сто граммов девяностоградусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир — глоток, другой. Это все равно что глотать ножи. Глотнул спирту — нет, сразу сдавило горло.

Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прево хорониться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку.

Горло у меня по-прежнему сдавлено — дурной знак, но чувствую себя лучше. Я спокоен. Надежды больше нет, а я спокоен. Связанного по рукам и ногам, уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться — не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив…

Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь. И я забываю о своем онемевшем теле. Больше я не двинусь, а значит, и мучиться не стану. Да, по правде сказать, не так уж это и мучительно… Мучения положены на музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картинками, немного жестокой сказкой… Совсем недавно меня преследовал ветер, и, спасаясь от

него, я кружил, как затравленный зверь. Потом стало трудно дышать: кто-то уперся коленом мне в грудь. Колено давило. И я пытался сбросить гнет, я отбивался от ангела смерти. Никогда я не был в пустыне один. Теперь я уже не верю в реальность окружающего — и ухожу в себя, закрываю глаза, больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвенье: реки, впадая в море, обретают покой.

Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше трех дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен… И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь.

Мне горько одно — ваше горе, — а больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни. А в городах люди о ней забыли.

Дело вовсе не в авиации. Самолет — не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради са-

молета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин.

Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной, и ищешь свою истину по звездам.

Не стану жаловаться на судьбу. Три дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся надежда моя — на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых. И право, это куда важнее, чем выбирать — в каком бы мюзик-холле убить вечер.

Мне странны пассажиры пригородных поездов — воображают, будто они люди, а сами, точно муравьи, подчиняются привычному гнету и даже не чувствуют его. Чем они заполняют свои воскресенья, свой жалкий, бессмысленный досуг?

Однажды в России я слышал — на заводе играли Моцарта. Я об этом написал. И получил двести ругательных писем. Меня не возмущают те, кому

больше по вкусу кабацкая музыка. Другой они и не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей.

Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь! В последнем счете здесь великолепно!..

Ни о чем не жалею. Я играл — и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов.

Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь.

Кажется, небо начинает бледнеть. Высвобождаю руку из песка, ощупываю разостланное рядом полотнище — оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос: «Сердце высохло… сердце высохло… сердце как камень, не выжмешь ни слезинки!..»

— В путь, Прево! Пока еще не спеклась глотка,

надо идти.

7

Дует западный ветер — тот самый, что иссушает человека за девятнадцать часов. Гортань еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель — мне про него рассказывали, и я жду. Язык мне мешает. Но что хуже всего, перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу.

Идем быстро. Пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы больше не сможем идти. Когда станет припекать…

Мы не имеем права вспотеть. И передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь восемнадцать процентов влаги. Ветер дует из недр пустыни. И под его тихой, вероломной лаской испаряется наша кровь.

В первый день мы съели немного винограда. За три дня — половинка апельсина и половина виноградной кисти. Есть мы бы все равно ничего не могли — у нас пропала слюна. Но голода я и не чувствую, только жажду. И кажется, не так мучительна жажда, как ее последствия. Пересохла гортань. Язык как деревянный. В глотке

дерет, вкус во рту премерзкий. Непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда перестает быть неутоленным желанием, она все больше становится болезнью.

Мне еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. Забываю сияющее великолепие апельсина, как забываю, кажется, все, что было мне дорого. Быть может, я уже все позабыл.

Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые пятьсот метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти.

Картина вокруг меняется. Камней все меньше. Теперь под ногами песок. Впереди, в двух километрах, — дюны. На них кое-где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. Эта пустыня — светлая. Это Сахара. Я, кажется, узнаю ее в лицо…

Теперь мы валимся без сил через каждые двести метров.

— Вон до тех кустиков уж непременно дойдем.

Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего «Самума», вы-

яснится, что в этот последний поход мы одолели восемьдесят километров. А я уже прошел около двухсот. Хватит ли сил идти дальше?

Вчера я шел, ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверно, так движутся волы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай, сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи.

Я уже ничего не чувствую, сердце во мне высохло. Вот сейчас упаду, но отчаянья нет. Нет даже горечи. А жаль — печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о себе, словно о друге. Но у меня не осталось на свете друзей.

Меня найдут, увидят мои обожженные глаза и подумают: как он страдал, как звал на помощь! Но бурные порывы, сожаления, страдания души — это ведь тоже богатство. А я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печаль и плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни. А я уже не печалюсь…

Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне

источник слез.

Но что это? Дыханье надежды коснулось меня — так пробегает по морю еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось — и, однако, все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени — все это уже не ландшафт, а сцена. Она пуста, но чего-то ждет. Смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях. Честное слово, сейчас что-то произойдет… Честное слово, пустыня ожила. Честное слово, это безлюдье, это безмолвие вдруг преобразилось, оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь.

Мы спасены: по песку кто-то прошел… Да, мы потеряли след рода человеческого, мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения, — и вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека.

— Смотрите, Прево, здесь разошлись двое…

— А здесь опустился на колени верблюд…

— А здесь…

Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час, другой — и нас

уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро. А горло у нас у обоих…

Но я верю: где-то в пустыне мерно движется караван.

Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал: «Под конец я слышал — в Андах пели петухи. И поезда слышал…»

Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал: сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет… Но тут Прево схватил меня за руку:

— Слыхали?

— Что?

— Петух!

— Значит… значит…

Дурень, конечно же это значит — жизнь…

У меня все-таки была еще галлюцинация, последняя: гнались друг за другом три собаки. Прево их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его что есть силы. И оба смеемся от счастья!..

Но наши голоса не слышны и за тридцать шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили

друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого!

И вот бедуин, что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно, медленно удаляется. А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его — и уводит… А у нас уже нет сил бежать!

На дюне появился еще один араб, мы видим его в профиль. Вопим, как можем, — все равно чуть слышно. Машем руками, кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой…

И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом — и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону — и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь — и мне кажется, он подобен Богу…

Это чудо… Он идет к нам по песку, словно некий бог по водам…

Араб поглядел на нас. Положил руки нам на плечи — и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст… Бедный кочевник

возложил нам на плечи длани архангела.

Мы ждали, лежа ничком на песке. И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает наша жадность, опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить — и снова мы приникаем к воде.

Вода!

У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца.

Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное — ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты — божество, которое так легко спугнуть… Но ты даешь нам бесконечно простое счастье.

А ты, ливийский бедуин, ты — наш спаситель, но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты — Человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты — возлюбленный брат мой. И я тоже узнаю тебя в каждом человеке.

Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты — могучий повелитель, в чьей власти напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь, у меня не осталось в мире ни одного врага.

VIII. ЛЮДИ

1

Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал — вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах Гийоме. И мне тоже не забыть, как я лежал, засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу.

Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон; завоеватель, одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо

откармливать, и, когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств.

Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть, о ней тоскуешь так, что готов пожалеть и о несчастьях, если с ними пришла та жаркая нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе.

Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека?

Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть вы-

кручивается как угодно.

В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь; но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищения достойна прежде всего почва, их взрастившая.

Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей лавчонке. Другой неуклонно идет к своей цели — и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже совершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу: тот пожар так и останется лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми убеждениями, что требуют подвига, — и вновь они погрузились в сон, так и не поверив в соб-

ственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека — но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию.

Ночи в воздухе, ночи в пустыне… это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании — и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех.

Это было на фронте под Мадридом, я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном.

2

Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, с командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке — о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. «Кто полезет туда первым...» — и, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту.

— Мы с тобой пойдем первыми, — говорит он сержанту. — Пей и ложись спать.

Сержант лег. Мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут пять назад я выглянул в бойницу. Сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины домов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный луч, как струйку масла. И перед глазами у меня все еще — зеленоватые от луны крепости.

Солдаты, что сидят со мною, должно быть, не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю.

И мы пьем коньяк. Справа от меня играют в шахматы. Слева балагурят. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку.

Мы играем здесь, в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна.

Скоро эти люди омоются — пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, —

все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты длят партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но они завели будильник, он возвышается на этажерке, точно владыка на престоле. И он позвонит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи, затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору, полого уходящему вверх, к голубому лунному прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова: «Чертова атака...» или: «Ну и холодище!» И канут в ночь.

В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прево, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды и нам удалось — один только раз! — проспать два часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом: чудесной властью отринуть окружающий мир. Мое тело еще не доставляло

мне хлопот, и довольно было уткнуться лицом в скрещенные руки, чтобы забыть обо всем на свете и уснуть сладким сном.

Так спал и сержант, он свернулся в клубок — не разберешь, где что; когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки поденщика или докера.

Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьверы, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жернов.

— Эй, сержант!

Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и опять погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые

черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи… но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресным утром в коллеже звонок неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились веселые игры на зеленом лугу; но все напрасно. Звонок звонит и звонит — и безжалостно возвращает его в царство людской несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там — тяжкий бег атаки — и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод: ощущаешь не столько самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта

и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни — возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле.

Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза:

— Уже пора?

Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла: сержант улыбался! Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рожденья и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре...» В этот час механики протирают спросонья глаза и расчехляют винты самолетов, в этот час пилот идет к синоптикам за сводкой, по земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубеет, уже идут приготовления к празднику — но не для нас, уже расстилают скатерть, а мы не приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие...

— А здесь — экая гнусность… — докончил Мермоз.

А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть?

Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни: был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:

— Пошли?

— Пошли.

И вы пошли.

Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать

словами, но которая властно тебя вела.

Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес, — и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, она хочет стать дикой уткой…

А еще мне вспоминаются газели, ручные газели, которых я завел в Джуби. У нас у всех там были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтоб у них было вдоволь воздуха, ведь газели очень нежны, и надо, чтоб их постоянно омывали струи ветра. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе

в ладонь. И воображаешь, будто и впрямь их приручил. Будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко… А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня, они упираются рожками в сетку. Их тянет туда, как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока — они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить и ласковей прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь… Но едва их оставишь, они пускаются вскачь, как будто даже весело, и вот уже снова застаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду, — просто будут стоять, понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви? Или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух? Они и сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца. Но ты понятливей их. Ты знаешь, чего они ищут — простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам. Хотят мчаться по прямой — сто километров в час! — порой высоко взлетая, словно вдруг

прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газелей, чтобы пугаться, от страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газелей, чтобы упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы! Смотришь на них и думаешь: их сжигает тоска. Тоска — это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего… Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом. Ну, а мы? Чего не хватает нам?

Что ты нашел здесь, на фронте, сержант, откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову, быть может — улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство? «Эй, товарищ!..» Когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое. Вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл. И, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю.

Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще не покоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с

трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся: «Сукин ты сын! Это из-за тебя я сел в калошу, дернул тебя черт залезть на высоту в две тысячи, когда там ветер навстречу! Шел бы пониже, как я, уж давно были бы в Порт-Этьене!» И тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарить. Ведь у него такие же права на нашу жизнь. Все мы — ветви одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем!

Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком, ты приобщился к большому миру — и вот тебя, отверженного, приемлет любовь.

Мне наплевать, искренни ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронил тебе в душу кто-то из политиков. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только

тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно.

3

Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину, — так они и обретают друг друга. А иначе в наш век — век комфорта — почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними — те же порывы и стремления. Нас разделяют методы — плод рассуждений, но цели у нас одни.

Так чему же тогда удивляться. Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретясь с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища,

с этой суровой справедливостью, ощутил однажды, как в нем пробуждается некто совсем новый, незнакомый, для того отныне существует лишь одна истина — истина анархистов. А кому довелось однажды стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь.

Если бы сказать Мермозу, когда он, в сердце своем торжествуя победу, ринулся с высоты Анд в долину Чили, если бы сказать ему: чудак, да стоит ли рисковать жизнью ради писем какого-нибудь торгаша, — Мермоз бы только усмехнулся. Истина — это человек, который рождался в нем, когда он летел через Анды.

Если вы хотите убедить того, кто не отказывается от войны, что война ужасна и отвратительна, не считайте его варваром — прежде чем судить, постарайтесь его понять.

Задумайтесь хотя бы над таким случаем. Один офицер с юга во время боев с риффами командовал постом, зажатым между двух горных хребтов, где находились повстанцы. Однажды вечером он принимал парламентеров с западных гор. Как полагается, пили чай, и вдруг началась ружейная пальба. На пост напали племена с восточных гор. Капитан хотел спровадить парламентеров и

принять бой, но они возразили: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам тебя покинуть…» И они присоединились к его солдатам, помогли отстоять пост и тогда лишь вернулись в свое орлиное гнездо.

А потом они в свою очередь собрались атаковать пост — и накануне отрядили к капитану послов:

— В тот вечер мы тебе помогли…

— Это верно.

— Ради тебя мы извели три сотни патронов…

— Это верно.

— По справедливости ты должен их нам вернуть.

Нет, капитан благороден, он не станет извлекать выгоду из их великодушия. И он отдает патроны, зная, что стрелять будут в него.

Истина человека — то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в знак братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Начните спорить о войне с таким капи-

таном, и он ответит вам лишь презрительной жалостью. И будет прав. Но и вы тоже правы, когда ненавидите войну.

Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым — и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.

Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и не горбатых, на фашистов и демократов — и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, — это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина — это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не «открыл» закон, долго остававшийся тайной, — так только

ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина — не то, что доказуемо, истина — это простота.

К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.

Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми. А мы хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных

гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.

Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. У тех, для кого культура сводится к затверженным формулам, представление о ней самое убогое. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они?

Все мы — кто смутно, кто яснее — ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей… Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего ис-

кали, ощутят единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть.

Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью, от– того что они — немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена.

Но эти идолы — идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть может, это и красиво — умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные цен-

тры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо.

Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения.

Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга.

Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства, — но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной

туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд — и вот он уже не просто слуга. Он — часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи.

Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе — была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из камня, от окопов ее отделяло метров пятьсот. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество!» — и, тяжело ступая, они спешили вдогонку.

Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни,

дает смысл и смерти.

Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна.

Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко, они себе показались неумелыми, беспомощными, больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе.

Я смотрел на мать, на старую крестьянку с ли-

цом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы — не лицо, а маска, высеченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей. Их лица — слепок с этой маски. Это тело формовало их тела — отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это — безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Да, это горько, но так просто и естественно — мерная поступь рода: оставляя на пути одну за другой бренные оболочки поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине.

Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей.

Так от поколения к поколению передается жизнь — медленно, как растет дерево, — а с нею

передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы — люди — и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия.

Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками: духовное наследство, что досталось ей на сохранение — скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря.

Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Атлантике, а иного — к стихам, — это вечное чувство неутоленности возникает потому, что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины и нам надо еще понять самих себя и Вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себялюбивое равнодушие; но такая мудрость — жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас в свидетели: какие часы нашей жизни самые счастливые?

4

И вот на последних страницах этой книги я опять вспоминаю состарившихся чиновников — наших провожатых на рассвете того дня, когда нам наконец-то впервые доверили почтовый самолет и мы готовились стать людьми. А ведь и они были во всем подобны нам, но они не знали, что голодны.

Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться.

Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток; трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я прошел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали. Пустовали и вагоны первого класса.

А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих-поляков, их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться; ва-

гон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела.

Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота и тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом.

Экономические приливы и отливы швыряли их по Европе из края в край, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах польских шахтеров, — и мне казалось, они наполовину потеряли человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого, все, к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет во Франции, — кошку, собаку, герань, — они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки.

Мать кормила грудью младенца; смертельно

усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек — ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство — не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта женщина когда-то встретились впервые, и, наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало? Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?

Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым, беспокойным сном. Храп, стоны,

невнятное бормотанье, скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок, — все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим — неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами прибоя.

Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные тяжелые кули породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих поисков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой низкопробных

кабаков. Моцарт обречен.

Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди не страдают от своей судьбы. И не сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы проливать слезы над вечно незаживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не отдельного человека, она разъедает человечество. И не верю я в жалость. Меня мучит забота садовника. Меня мучит не вид нищеты, — в конце концов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт.

Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека.